

Виктор Перегудов

БЕЛАЯ ЛОДКА

Рассказы



Виктор Степанович Перегудов родился в 1949 году в селе Песковатка Лискинского района Воронежской области. Окончил отделение журналистики Воронежского государственного университета. Работал в воронежской газете «Молодой коммунар», журналах «Политическая работа», «Сельская молодежь», издательстве «Молодая гвардия». Занимал ответственные должности в ЦК ВЛКСМ, политических структурах, Совете Федерации РФ, мэрии Москвы. Публиковался во многих федеральных газетах и журналах. Автор семи книг прозы, в том числе «Великие сосны», «Семь тетрадей», «Сад золотой». Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Когда нам было по четырнадцать лет, друг Васька построил лодку. Своими руками. Он был на все руки мастер. Я тогда всего лишь писал стихи. Больше ничего не умел, а он был, в отличие от меня, разнообразно и ярко талантлив. Он украл доски, двадцатку, как он непонятно сказал, на ближней стройке. Доски лежали там штабелями. Он их штук пятнадцать, пятиметровых, за одну ночь перетаскал к себе во двор. Мать не возражала почему-то. Да она сама подсолнечное масло крапа на заводе. В темнорозовых резиновых грелках тетя Вера приносила масло под юбкой. Доставала их изпод юбки при нас с Васькой. Всегда после работы маслом пахла.

А он, Васька, да, был талантлив! Может быть, гениален даже — в смысле множественности дарований в диапазоне от творческих и ремесленных до авантюрных. Он, например, накопил немного денег и купил у одного старенького пьющего и уже не игравшего музыканта гундосый от старости кларнет. И он сам научился на нем играть! К музыке его подтолкнула модная песня очень молодой тогда Эдиты Пьехи:

Как теперь не веселиться,
Не грустить от разных бед!
В нашем доме поселился
Замечательный сосед.

Мы не ведали, не знали
И не верили себе,
Что у нас сосед играет
На кларнете и трубе!

Дальше там припев: трам-пам, тарарам-пам.

Что же, мы и впрямь не ведали, не знали.

Этот кларнет был потом утоплен в реке на втором испытании лодки.

Я свои стихи о лодке написал, когда мне было уже двадцать пять лет:

Вот лодка из досок смолистых —
Узка, и бела, и легка.
Белою грудью смешала
Лодка в реке облака.

Летом тут лес сплавляют,
Зимой здесь зеленый лед.
Весною моя живая
Пречистая лодка плывет.

Эти стихи я озвучил уже во взрослой московской жизни начитанной аспирантке Ларисе. Она уверенно сказала:

— Понятно!

— Что тебе понятно?

— Ты влюбился!

— Из чего это следует?

— Из того!

Я потребовал объяснений. Она предложила провести эксперимент.

Мы в обед пили с аспиранткой Машей кофе, и Лариса сказала:

— Маша, назови мне какой-нибудь предмет!

— Зачем?

— Назови, что тебе, жалко?

— Столб! — произнесла Маша.

Лариса прыснула, но ничего не сказала. На следующий день она попросила назвать какой-нибудь предмет кандидата физических наук Лешу. Леша без сопротивления согласился, немного подумал, закрыв глаза, и изрек:

— Если тебе будет приятно, то я назову маленькую открытую женскую сумочку.

Лариса победно взглянула на меня.

— Мне приятно, спасибо, Леша! — сказала она.

А после обеда объяснила мне суть эксперимента. Оказывается, влюбленная девушка подсознательно назовет какой-нибудь фаллический символ. То есть вещь вертикальную. А влюбленный мужчина назовет парный фаллическому символ — понятно, что подразумевающий.

Я был поражен.

— А ты что, Лорка, навскидку назовешь?

— Иди ты! — сказала она.

— Куда? — спросил я.

— Догадайся! — захохотала Лариса.

Все это я вспомнил к тому, что Вася, на горькую беду свою, слишком рано познал женщину. И не одну. Всего через год после строительства лодки, когда его одинокая мать завела себе любовника и отдала сына с глаз долой в интернат. Она была пьющая женщина. Ее муж, Васин отец, умер от туберкулеза пять лет тому назад. А там, в интернате, оказалось,

никаких проблем с этим интимом не было, хотя про сексуальную революцию в СССР еще никто слыхом не слыхивал. Я Васе не верил, что в интернате с этим запросто. Я тогда не знал и знать не мог, чем это для Васи обернется во взрослой жизни. А Вася говорил обо всем этом почти с отвращением почему-то: «Да мы их там сколько хочешь!».

Но вернусь к лодке. Мы ее даже не покрасили! Не терпелось испытать. Мы ее затащили на тележку и с горем пополам, надрываясь, прикатали тележку на песчаный пляж. Погода была дрянь, ветер с дождем, поэтому на пляже никого не было. Ветер дул по течению. Он катил волны от нас к селению Щучье, что расположилось на левом низком берегу километрах в четырех ниже по реке.

Мачта была из тяжелого сырого соснового бруса десять на десять сантиметров, из него же Вася сделал рею. Парус мы раньше сшили из двенадцати распоротых мешков из-под подсолнечных семечек. Таких мешков было в любом дворе во множестве: их за копейки, для поощрения, продавали своим труженикам на маслозаводе.

Мы спустили лодку на воду, подняли парус, рулем служило весло.

И мы поплыли! Разумеется, в открытое море!

Ветер и течение несли нас так быстро, что под носом у лодки вскипел бурунчик! Как будто мы на моторке рассекали водную гладь. И вскоре мы оставили Щучье за кормой. И увидели, что не прошпаклеванная лодка течет!

И мы пристали к берегу. И дождь сек нас, и нам было холодно. И вопреки всему этому восторг обуревал нас! И мы орали от счастья.

И надо было возвращаться домой.

Я тащил лодку за причальную цепь, а Вася толкал ее в корму. Теперь ветер и течение превратились из попутных друзей в противопутных недругов. О, долгий путь к причалу! У нас на корабле уже и солонина в бочке кончилась, а сухари в трюме размокли и растеклись жижей по дну провиантского ящика. Рядом с фрегатом резвились яркие тропические рыбки, пускали фонтаны упитанные киты, но как ты кита добудешь, если гарпунщик слег от цинги!

Мимо нас вверх по течению пролетел на моторной алюминиевой лодке-«казанке» незнакомый рыбак в брезентовом плаще. Увидел наши мухи, но на буксир не взял, подлый трус. Только усмехнулся и капюшон на голову поглубже нахлобучил.

...Когда мы причалили, измученные, к родному берегу, Васька сказал: «Будет буря, мы поспорим, и поборемся мы с ней!».

— Когда? — спросил я, не задумываясь.

— Послезавтра. Ночью. Если будет ветер.

И ночь была, и ветер был. И опять восторг был! Мы отдались на волю стихий, и Васька вдохновенно играл на сиплом кларнете.

— Здорово! — сказал я.

Он размахнулся и бросил кларнет во тьму на середину реки.

Я онемел.

— Я не музыкант, — сказал он. — Поплыли домой.

Мы бросили лодку на берегу. Зачем она нам теперь была нужна, когда мы покорили свой первый океан. Да и куда нам было плыть без музыки в душе.

После этого Васька до осени делал модель самого знаменитого английского чайного клипера «Катти Сарк». Трудов на модель было положено такое великое множество, что мне надоело наблюдать за этим нескончае-

мым кропотливым строительством. Ваське это было все равно, я ему не был нужен и, скорее всего, мешал делу, по бездарности не умея ничем помочь искусному корабельному мастеру.

Зато я полюбил Таню. И Ваське об этом ничего не сказал. Я ее потом разлюбил, потому что влюбился в ее сестру Нину. И Нину я тоже разлюбил, потому что я еще не знал, что такое любовь. Так, юная душа томилась. Правда, сны мне снились подростковые. Горячие, потаенные. Не детальные. А Таня... О ней я написал спустя полвека:

...Вот парень по-особому глядит
На девушку. Она — его? Едва ли?
Она от рака в двадцать лет умрет.
Большая жизнь. Ей меньше отпускали.
Вот по реке небесный пароход
Плывет из порта Лиски к порту Щучье...

Когда мне было двадцать один, я вернулся из армии домой. И в этот день мимо нашего дома прошла горькая процессия с рыдающим оркестром. Я думал: понесли на вечный покой ветерана-старика; но это была Таня.

Вася построил модель клипера, и мы пошли, когда ветра не было, испытать ее на бережной воде. С нами увязался Мишка по прозвищу Колдун. Сосед, сверстник, он всегда был злой и мрачный.

Трехмачтовый клипер на пляжном рейде — как волшебная сказка наяву. Рядом с ним лодка из доски-двадцатки даже невозможна была. К тому же на клипере были свои миниатюрные лодочки с крошечными веслами в еще более миниатюрных уключинах. А лодку к тому времени угнали речные воришки, но мы о том не жалели.

Мишка Колдун сказал, что у клипера нелепое название. Он вообще-то ничего не знал о чайных гонках и о знаменитом соревновании двух лучших английских клиперов «Кати Сарк» и «Фермопилы». Не знал, почему именно так назывался прославленный клипер. А мы с Васькой знали.

— Корабль надо называть в честь любимой женщины, — сказал глупый Мишка.

— А модель корабля надо называть так же, как корабль, — осадил я его.

— А ты, Васька, назвал свой корабль «Катя сраная», — засмеялся Мишка.

— Не шути, дурак, это опасно, — ответил я. — Тебе, Колдуну, радоваться надо. Джон Уиллис назвал клипер по имени Нэн Короткая Рубашка. Это шотландская ведьма. Не прабабка твоя?

Потом, дома, мы об этом говорили с Васькой, и он сказал, что нет такой девушки, которую он бы любил и в честь которой назвал бы, например, нашу лодку.

— Будет когда-нибудь, — утешил я, но про мою первую любовь к Тане ничего не рассказал.

Что было потом? Потом Васька блистал разными талантами, сделал модель истребителя, писал, и недурно, как я понимаю, картины маслом. Украд зачем-то музыкальный ламповый усилитель из заводского клуба, но через три дня сам же ночью, тайно, притащил его к клубным дверям.

Мать не разрешила ему учиться после восьмилетки.

Он работал каменщиком и скоро стал лучшим на большой стройке. Ему нужны были три подсобника подносить раствор и кирпичи. Зарабатывал больше всех в бригаде. Его за это избили.

Он уехал в Сибирь, в Бодайбо, добывать золото.

Вернулся оттуда богатый и построил двухэтажный дом с высоченной коротковолновой радиолубительской башней. Про этот дом в специальном строительном журнале написали, настолько он был хорош. Ваську из зависти подожгли соседи, но дом не сгорел, потому что он был из красного кирпича.

Через несколько лет Василий неожиданно женился на некрасивой девушке с двумя малюсенькими дочками. Она от него еще до свадьбы забеременела и родила двойню девчонок. Мы были по-прежнему друзьями, но он меня и мою жену на свадьбу не позвал почему-то. Через неделю мы выпили в кафе, и он сказал:

— Я ее ненавижу, но ни за что не брошу. Дочерей люблю. И она меня ненавидит. Ревнует зверски, но не от любви, а от ненависти. А у меня и нет никого.

— За что ненавидит? — спросил я.

— Я ее изнасиловал, — ответил он.

Так они и жили. Прошло немало лет. Иногда он приезжал ко мне в Москву. В один из таких приездов рассказал, что много лет занимается лечебным гипнозом и даже как народный целитель имеет лицензию Минздрава. Он лечил людей от заикания, на все про все уходило десять дней. Он сотням заик вернул человеческую речь. Предложил свою помощь знаменитому поэту-заике, но тот отказался, сказав, что так он потеряет часть образа.

В последний свой приезд он доверительно рассказал нам, что в него влюбилась излеченная им девушка-москвичка и он приехал, чтобы с нею повидаться. Я знал, что его дочери уже вышли замуж, а с женой они разве что под одной крышей жили, не любя друг друга.

На второй день по приезде он встретился у памятника Пушкину с влюбленной в него москвичкой, и она повела его прогуляться по Новому Арбату. У стен Института красоты он лицом к лицу встретился со своей женой! Она вслед за ним приехала, и рок свел их на ветреном проспекте.

Произошла безобразная сцена. Они уехали домой.

Мы изредка потом встречались, когда я приезжал в родной город проведать маму. Он бодрился, говорил, что стал последователем мудреца Порфирия Иванова, энергию получает непосредственно от солнца. Отрастил седую бороду по пояс и за пояс себе ее заправлял. Босой ходил. Рассказывал, что, входя в автобус, громко говорит всем: «Здравствуйте, люди!». А люди его не понимают. Раздражаются. Шипят.

Я узнал, что болел он мучительно и долго, будучи безнадежным, не мог умереть. Жена ходила в церковь, истово молилась. Дочери день и ночь сидели у его постели. Прознав о его муках, к нему, неверующему, пришел батюшка, и он, придя в сознание, дал себя окрестить. И ночью тихо простился с миром.

В любви он никогда не был счастлив.

Вернее, без любви.

БЫЛО СЛИШКОМ МНОГО СЧАСТЬЯ

Я сижу в старом кресле перед большим, в пол, окном и смотрю на посеребренный полной луной ночной лес. Кресло у меня красного дерева. Оно сработано в высоко ценимом антикварами старинном стиле. С тем, правда, отступлением, что спинка по умыслу мастера отогнута назад несколько больше, чем предписывают традиция и канон. Зато и по-

этому в моем кресле приятно дремать. В позапрошлом веке старые дворяне уютно говаривали (да, говаривали, а не говорили): «Я, господа, люблю вздремнуть в моих покойных креслах». Они обращались к своему креслу на Вы.

Я тоже люблю подремать в моем кресле. Я сделал его своими руками — очень давно. Через два года после армии, когда Ваня родился. Это был подарок одной женщине. Теперь это кресло можно без натяжки считать антикварным. Кожа на его высоких подлокотниках заслуженно поистерлась. Это грустно до боли, но о причинах такого чувства я пока смолчу.

Новую мебель я не люблю. Принципиально.

Когда я задремываю, тихим шагом приходят воспоминания. Мозг, на редкость памятливым в моем осеннем возрасте, заботливо выбирает для неспешного просмотра видения поярче. Так глаза, когда я их открываю, сразу же видят за окном, по окоему ночной панорамы, ярко подсвеченные высотки. Относительно недавно их в Москве было всего с десяток, но в новом веке появилось множество молодых, очень высоких зданий. Так в каждом, за военными исключениями, новом сытом поколении возрастают целые армии парней незаурядного роста.

Столь окольным сравнением я намекаю, что мои воспоминания растут и множатся. Они становятся все более живыми и многослойно многоцветными. Как будто сквозь слезы смотришь на ночной костер.

...Девушка, с которой я познакомился на танцах у украинного женского общежития, отличалась не модной красотой. У нее, при хрупкой фигурке, было тонкое, бесстрастно-аристократическое, несколько средневековое по типуажу лицо. Я такие видел в альбоме по истории западноевропейской живописи. Это лицо — лучше сказать: этот образ — я даже не смогу описать. Скажу лишь, что столь изысканные девушки въяви появились в СССР лишь через тридцать лет после наших танцев. Так что в тот вечер она попала либо из дворянского прошлого, либо из бездворянского будущего.

Сейчас среди девушек опять появились аристократки. Время от времени я пренебрегаю такси и балую себя (какая же это радость!) поездкой в метро. По старинному утесовскому маршруту «От Сокольников до парка». И я иногда вижу в метро аристократок.

Она — потом, во время наших встреч — была со мной, но словно бы далеко от меня. То есть в себе, что свойственно духовно развитой личности, но я это не сразу понял, а сначала даже обижался. Но все это было гораздо позднее.

Она носила длинную целомудренную косу! К счастью, моим сверстникам — юношам послевоенных лет рождения — нравились на генетическом уровне девчонки порумянее. С гораздо более рельефными формами. Такие, на радость ухажерам, водились на асфальтовой танцплощадке во множестве. Да они все были такими, юные строительницы светлого будущего! Кроме одной, которую я разглядел. И которую никто ни разу не пригласил. И которую никто не стал бы у меня отбивать.

Тогда было принято выходить на танец и без приглашения, потому что торжествовал демократический принцип «Танцуют все!» Но она не была «все» и не хотела сливаться со всеми.

По переулкам бродит лето,
Солнце льется прямо с крыш.
В потоке солнечного света
У киоска ты стоишь.

Блестят обложками журналы,
На них с восторгом смотришь ты,
Ты в журналах увидела
Королеву красоты.

Муслим Магомаев гремел на всю ночную округу, но я не любил эту плакатно-лирическую песню. Зато Пятачок, так называлась танцплощадка, содрогался в радостных ритмических конвульсиях. Девушка не видела меня за танцующими, да она и не смотрела ни на кого. Она время от времени вскидывала глаза на луну. Как будто мимолетно разглядывала спутницу Земли, показывая тем самым, что ей и не хочется танцевать.

Песня закончилась, но пластинку поставили еще раз, и Пятачок продолжил сосредоточенно трястись. Я прошел, неотрывно глядя на нее, сквозь пляшущий круг и церемонно поклонился ей. В то время у нас приглашали на танец полувопросительным «Пойдем потанцуем?» Поклоны дамам, как и самих дам, мы видели в кино про дворян и помещиков.

Она благосклонно подала мне свою руку. И мне стало стыдно, потому что ладонь ее руки была гораздо грубее моей. Она работала, как я позднее узнал, то на малярке, то на штукатурке. Там, где было надо прорабу. Но я не про рабу рассказываю, нет.

Я учился на столяра. Я избрал эту специальность потому, что прочитал в одной книге про историческое прошлое такую фразу: «Он был знатный столяр и впоследствии изоцрился в мастерстве краснодеревщика — лучшего в нашем старом добром городе, где издавна знали толк в изящной мебели». Я разузнал, кто такие краснодеревщики, и меня крайне привлекло редкостное ремесло. И я пошел обучаться столярному делу, так как на краснодеревщиков в райцентре не учили.

У меня, повторю, были довольно гладкие для парня ладони, и она это почувствовала, когда в ответ на мой поклон подала мне руку. Мы вступили в круг и, не сговариваясь, начали танцевать медленно. Мы не скакали, как все.

Это кое-что означало и для нас, и для публики. А именно: мы начали «дружить». Так (неопределенно, хотя и с ясно понимаемым намеком) назывались те ожидаемые отношения, которые могли довести известно до чего...

Это случалось. Девичье общежитие награждало своих юных насельниц то чистой любовью, то страстным романом, то эпизодической связью, и даже, и нередко, походом в ЗАГС. Случались визиты в больницу, в том числе по деликатным, а иногда и по болезненно-мучительным для души и тела поводам.

Потому что танцуют все.

Иногда девочек били. Или они дрались между собой.

Здесь, у общежития, начинались разные дороги. Мы ступили на одну из них раньше, чем узнали имена друг друга. Но это метафора. Физически мы в тот вечер вошли в танцевальный круг и прижались друг к другу. Тесно. Очень. Недвусмысленно. Я каждой клеточкой тела и каждой душевной стрункой почувствовал, что она не только не против этого, но будто не верит себе, что так бывает.

Существовала, однако, та невидимая грань, которая обозначала, что столь откровенная сближенность может продлиться только на короткие минуты танца. Удивляться не стоит: у каждого поколения и возраста под рукой множество неписанных правил и разрешенных действий. Право

прижимать девушку к себе в первом же танце, но без повторных, при ее нежелании, попыток — это тогда и было одним из таких правил.

Дело в том, что танцевальное объятие являлось точнейшим маркером возможности или невозможности совсем другого уровня отношений. Тех, когда о нем и о ней уже не говорят: «Они дружат». Говорят другое: «Они гуляют».

Пара на первом тесном танце сразу чувствует, будет ли она гулять.

Я провел девушку к серебряному тополи, у которого она стояла перед танцем. И остался рядом. Надо было что-то сказать, но меня заклинило. Она ждала, конечно. Потом взглянула на луну. И у меня открылась речь.

— Ты знаешь еще одно имя Луны?

— Их два разве?

— Наверное, больше. Луна одна, но языков на свете много.

— Но ты о каком-то определенном лунном имени говоришь?

— Да, точно. Луну иногда называют Селена. Подразумевается особая луна, то есть Белая Луна. Она символизирует для женщины Ангела-Хранителя. В том, кто рядом с ней. Это из тайных сфер известно.

— Ты ведь о себе сейчас говоришь?

— Да. Я никогда так не говорил. Я и не вспоминал до этой минуты о Селене.

— А хочешь, я тебе назову другие имена Луны?

— Конечно.

— Начну тогда с бабушкиного. Бабушка так звала: месяц. Так и сейчас часто говорят. А еще есть Лунный диск. Ночное светило. Царица ночи. И еще Звездный пастух. Вот!

— А еще Ночной товарищ, — сказал я.

— Ничего себе! — негромко, как будто про себя, воскликнула она.

— Ничего себе, — сказал я. — Все тебе.

— Так сразу? — спросила она шепотом. Но я услышал. Стояла удивительная ночная тишина.

Я оглянулся: на Пятачке не было ни одного человека. В час ночи все расходится спать, но я этого не заметил. Потому что я был вместе с нею отдельно от всех людей. Для нас время шло иначе, чем для них.

Я целовал мою девушку.

Мы целовались. И я услышал:

— Хорош сосаться, молодежь.

Я вздрогнул.

Их было трое. Все старше и сильнее меня. Тот, кто говорил, смотрел на меня с насмешкой.

— Чего смотришь? Ты нам не нужен. Она нужна. Нам тоже хочется. Ночь в разгаре, как-никак. А за себя не ссы, не тронем. Рук о тебя не замираем.

Я ударил его боковым в челюсть. Он рухнул. Нежно ойкнул с асфальта.

Меня повалили и начали увечить. Я потерял сознание.

...Кто-то отвечивал мне пощечину за пощечиной. Я открыл глаза. Я сидел на лавочке. Девушка стояла за моей спиной, держа меня за плечи, чтобы я в бессознании не упал ни вбок, ни вперед.

Она кричала:

— Не бейте его!

Моя белая рубашка была в крови. Жутко болела голова. И изнутри,

и снаружи, где были рассечения кожи. Меня хлесткими пощечинами приводил в чувство тот, кого я свалил одним ударом.

— Армии скажи спасибо, козел, — сказал он. — Мы б тебя с радостью инвалидом сделали, но закон не позволяет. Тебе через неделю в строй. Повестку не потеряй. В военкомате велели тебе вручить.

Он бросил мне на колени листок бумаги. Листок пропитался пятнами, кровью.

— А ты, — он посмотрел на девушку, — тоже армию благодари. Он там мужиком станет. Вернется, доцелуетесь. И все такое... А у нас настроения на тебя нету.

Они ушли. Их поглотила ночная тьма. Или просто Тьма. Луна скатилась по небосводу вправо и вниз и побагровела.

Я встал на ноги, меня качало. Девушка поднырнула под мою руку, и я теперь опирался на ее плечо.

— Пойдем ко мне в общежитие, — сказала она. — Тут близко. А домой я тебя пока не отпущу. И автобусы уже не ходят. А моя соседка уехала к матери в гости.

Я ничего не ответил, потому что никаких сил у меня не было.

Мы вошли в вестибюль общежития. За капитанским фанерным мостиком у турникета сидела на венском изогнутом стуле, их тогда много было, бодрая старушка-вахтер. Она посмотрела на нас понимающе.

— Только милицию не вызывайте, — сказала моя девушка.

— Дура я разве? — спросила старушка. — Проходите уж. Милиции тут не хватало на мою голову. А вы, часом, не сами подрались? — вдруг встrepенулась она. — Если сами, то мужика не пуцу.

Мы даже не ответили. Мы поднялись на второй этаж. Комнатка оказалась уютной и чистой. Здесь даже были книги! Столетник зеленел в горшке. Я меня дома был такой.

— Ложись, — сказала она.

Стащила с меня рубаху, расстегнула ремень брюк, потянула их вниз, я переступил ногами.

— Стой пока, — сказала она. Она обтирала меня мокрым полотенцем, два раза поменяв его, потом сухим махровым, очень большим, обтерла насухо все тело.

— Ложись. И не шевелись. Вдруг у тебя сотрясение мозга. Вот таблетка тебе на всякий случай. От боли. Спи.

Я лег. Простыня была приятно прохладной.

Я проснулся. Она лежала рядом.

Обнаженная.

Я начал ее тихо целовать. Она обвила руками мою шею, потом опустила руки на спину и сильно притянула меня к себе. Сильнее, чем я ее прижимал в танце.

Через минуту она вскрикнула, и я понял, что ей больно, но остановиться не мог.

На простыне осталась ее кровь.

— Как тебя зовут? — потом спросил я.

— Вспомнил, — усмехнулась она. — Игорь вспомнил, что не знает имя любимой. Я — Анна.

— Это самое лучшее в мире имя, — сказал я. — А откуда ты мое знаешь?

— Я повестку прочитала, — ответила она.

...Я отслужил два года, и потом много чего было. С Анной мы разбежались всего один раз, но вскоре и навсегда сошлись. Я все-таки стал краснодеревщиком. И когда начал полагать свое ремесло одним из искусств, то решил сделать для нее роскошное кресло. Углубился в справочники и каталоги, в том числе зарубежные, рассматривал в музеях старинные картины и выбрал для своего творения достойный Анны стиль.

Стиль Королевы Анны.

Она любила сидеть в этом кресле. Она кормила Ваню грудью. Любила читать в кресле. Слушать музыку барокко.

Любила...

Иногда она навещает меня, когда луна на небе. Глядит мне в глаза.

Я начинаю с ней говорить, но она никогда не отвечает мне.

ЗА РЕКОЙ ГОРА

Отношение к горам у меня кислотно-скептическое. Как у одного бизнесмена к морю. Он из солнечного Дагестана. Он русский, москвич, освоивший местную ментальность. Пригласил меня в Махачкалу шашлык-машлык покушать. «Немножко, брат, поговорить о делах хочу». В его планах пункт «дела» первенствовал, разумеется, над пунктом «шашлыки», и я это понимал. Таков суровый закон гор. Он же закон тайги. И учреждений пенитенциарной системы. Жизнь ведь везде одинаковая.

За день до визита я забил в поисковике запрос «Дагестан. Каспий. Отдых у моря». Я мог себе позволить любую отель на берегах открыточно-шикарных морей и океанов. Но из профессиональной привычки быть с финансами бережнее, чем мать с младенцем, присвистнул, ознакомившись с высокими, как горы, ценами в местах здешнего приморского отдохновения.

По прилете я, сын Среднерусской возвышенности, понял, наконец, что такое истинное горское гостеприимство. Оно более стильное, чем, например, городское тбилисское. Оно сдержаннее. И вот в чем фишка. Гостеприимный хозяин постоянно как бы оценивает тебя. Так прописан сам протокол застолья. Обмен гостями. Изысканность фарфорово-серебряной сервировки. Больше, чем необходимо, число официантов. Дарение чего-нибудь из продукции национальных художественных промыслов. Обычно это кинжал. Песен нет, но беседы глубоки и достойны и с обязательной опорой на мудрость предков и высоту гор.

После угощения в замечательном тихом ресторане, где в тот час не было никого, кроме нас и деликатной охраны, мой друг спросил, что я хотел бы увидеть в Махачкале и окрестностях. Может быть, горы?

Я запросил Каспийское море.

— Зачем оно, брат? — спросил хозяин с ненаигранной грустью философа. — Какой в нем смысл?

Он был искренен настолько, что даже не задумался о том, как гость воспримет столь странную реакцию.

— Ну, как, — я, почему-то смутившись, подбирал слова. — Как за чем? Это стихия! Это свобода. Это... это море, дорогой человек!

— Море — всего лишь зыбкая вода. В ширину — краев не видно. В глубину — что там делать, в глубине? А горы — это максимально возможная высота. Близость звезд. Когда ты на вершине, все люди под тобой.

И ты тоже, ишак, — вот что я услышал. Я понял, что не приму его предложение о союзе наших бизнесов. К его чести, он тоже понимал, что

слияние невозможно. Это был тонкий психолог и воин. Опасный враг, если сделать его врагом.

Если говорить без обиняков, мы хотели сожрать друг друга. Но в этот раз наши финансовые челюсти щелкнули вхолостую.

Он вызывал искреннее уважение, но понять, почему он не любит море, я при всем моем желании не мог.

— Ты умный человек, брат. На тебя седло не наденешь, — сказал он, вздохнув. — Но если ты хочешь, я в знак уважения подарю тебе небольшой хороший дом у моря. Я тут вложил в поселок-элитку. Ваши московские берут дома как шашлыки.

Он не сказал: я подарю. Он сказал: если ты хочешь.

О, восток, восторг души моей...

Я поблагодарил, сказал, что у меня есть домишко в Ялте (Крым наш) и избушка в Лимасоле на Кипре.

— Приглашаю погостить, — сказал я.

— Я не люблю море, — ответил он. — Не люблю, брат, прости.

А я люблю. Я впервые увидел его в поселке Аше близ Лазаревского. Это Кавказ, до Сочи от Аше примерно шестьдесят километров. Мы приехали в Аше студентами-дикарями, искали комнату поближе к пляжу. Оказалось, там все близко к пляжу. Уютная прохладная комната стоила четыре рубля в день. Хозяйка посмотрела на нас, вздохнула и сказала, что возьмет с нас по рублю с души.

Вот вам и тоталитарный строй. Самое начало восьмидесятых. Страной правит сонный Брежнев. Тиран!

Одно мне не нравилось: над Аше нависал склон высокой и крутой горы. Она была первая из настоящих породистых гор, которую я увидел. Я подумал про оползни, про землетрясения. Но потрясло нас море.

Самое синее в мире... Спорить не буду, потому что я патриот наших морей, полей и даже гор.

Нелюдимо наше море... Еще как людуемо! Хотя я был там с юной женой, но нередко скашивал глаза на русалочек.

А про опасную, поросшую густым лесом гору я подумал тогда, что при такой крутизне обращенного к поселку склона на этом склоне никто никогда не бывал. Туда невозможно забраться. Еще оползет.

Это были счастливые дни нашей юности. У моря, у синего моря с тобою мы рядом, с тобою. И солнце светит, и для нас с тобой целый день поет прибой.

Жена там впервые забеременела, под горой. Второй раз гораздо позднее. Дочку родила. А сын у нас вышел — как с горы упал. Наша драма. Он по макушку в наркозависимости.

В Аше однажды мы пришли на причал около двенадцати ночи. Там стояло прогулочное судно не речного размера, и оно, как было объявлено, через пять минут должно было уйти в ночное открытое море на часовую прогулку.

Упоительный поход! Сперва было подсознательно страшновато, когда берег стал удаляться. Груда огней поселка как бы сжалась в светящийся в ночи комочек. И над всем поселком тьма стояла, где небо должно было быть! А над тьмою — звезды!

Что за странная картина! Куда звезды пропали? А это черные горы при взгляде с ночного моря перекрывали свет далеких звезд. И мне это не понравилось. Горы...

Мы ночью были счастливы до стонов.

Так вот, о горах. Я жил в детстве на берегу Дона, на левом берегу.

Правобережье. Меловые кручи.
Зеленый луг на левом берегу.
В высоком небе снеговые тучи.
Меж них рисует самолет дугу.

Там, на меловых кручах, была самая первая, да, действительно, самая первая моя гора. Гора местного значения. За рекой. Между рекой и откосами лежал черемуховый лес, в нем было мелководное озеро с ужами и лилиями. Когда я в девятом классе влюбился, то решил однажды нарвать лилий для той, в которую влюбился. Много лет прошло, перед тем как я зарифмовал свою память о годах молодых:

Я снова здесь. Вот озеро, ужи,
И я в страстях от юности моея.
Здесь травы, как зеленые ножи,
И лилии, ее фаты белее.

Путь на правый берег лежал через озеро, и я любил эту лесную и озерную красоту и летом, и зимой. В хорошие морозы на льду озера, защищенного от ветров, образовывались бриллиантово сияющие звезды. Или, лучше сказать, ледяные цветы размером с мальчишеский кулак. Я их называл зимними лилиями.

Правый берег — меловые холмы, скалы, серо-белые огромные залысины: почва не в силах прикрыть голый вечный мел. В детстве холмы и впрямь были большие. В студенческие годы мне хотелось показать моей юной жене, как я крут на скоростном спуске. Однажды роскошным, с легким морозцем, утром мы отправились кататься на лыжах. Поднялись на обрыв, прошли заснеженные луга, потом лес с озером — и вышли к селу Залужное, что тянулось двумя улицами вдоль Дона. А уж за селом начались холмы.

Они были неожиданно, неправдоподобно низкими. Я вышел точно на любимый холм, и он оказался обидно низким. Вот тот самый холм, сказал я жене. Она посмотрела на этот потешный Эльбрус с легчайшей необидной усмешкой. Кататься оказалось невозможно, потому что ветер сорвал и слизал почти весь снег на склонах. А по голому мелу не скатишься.

Я вспомнил, что однажды на этом холме вывихнул ногу и что именно из-за этого невлюбил любые горы. Но я жене не сказал об этом.

Мы двинулись домой, потому что как-то все поскучнело вокруг. Небо посерело, а ведь было сначала голубым. Солнце мутным пятном просвечивало сквозь сплошные алюминиевые облака. Потянул ледяной энергичный ветер. На обрыве увидели мы кусты шиповника. Листья облетели, но веточки были усыпаны алыми ягодами. Они сияли и светились. Светились...

Лет десять назад мы с женой открыли для себя Куршевель, но не в лыжном варианте. Там и без лыж было неплохо, в горах.

Там я потерял почти все свои деньги, которые были в основном на счетах в швейцарских банках и в акциях российских металлургических гигантов. Так получилось. Потому что я ходил по финансовому косогору и стоптал сапоги. Теперь не спляшешь.

Я даже поместье на Кипре продал. Но виллу в Крыму оставил за собой! Переписал на дочь.

Она повадилась было искать жениха на зимних курортах, но что-то у

нее не заладилось. Свиристует на меня за это. Женихи, говорит, в Куршевеле. Но Куршевель теперь далеко.

А Ялту я люблю. И крымские горы люблю. Они в геологическом плане молодые, не то что стесанный сверху, примороженный Урал. Николай Второй подумывал столицу перенести в Крым, но у него, как у меня сейчас, денег было мало.

После четырнадцатого года я с моим приятелем пристроился энергично и безжалостно доить крымский бюджет. Как мы воровали! Как много, имею в виду. Увы, это продлилось недолго. Я избежал тюрьмы, но меня срубил инфаркт. Лежу. Считаю пульс, с трудом нащупывая бледно-голубую жилку на запястье бессильной левой руки.

Высоцкий пел, что выше гор могут быть только горы. Да нет, ерунда это. Выше гор тот, кто все видит. И все знает о каждом из нас.

И ему больно.

ЛЮБОВЬ В ХОЛОДНОМ ОБЛАКЕ

Постарев, я стал опасливо внимателен к переменам погоды. Я даже обзавелся прибором, на экранчике которого отображалась температура на улице и в квартире. Первое время часто смотрел на него, но сейчас остыл, предпочтя огромный телевизор. По воле телевизионных режиссеров, искусственных в манипуляциях с подсознанием, про погоду в новостях попеременно рассказывают элегантные барышни и добрые старички. Этакie принцессы и гномы. Барышни умеренно сексапильны; это укрепляет у пожилых телезрителей надежду на целительное воздействие воздушных масс, несущихся со стороны Атлантики, Северного Ледовитого океана — либо из раскаленной Северной Африки. Издалека.

Думаю, что у нас есть, разумеется, свой собственный климат, но почти не бывает собственной, «Made in Russia», погоды. Только по импорту. Достоверно русская погода осталась в описаниях Тургенева, а истинно русская — в пушкинских строчках.

Метеовестники внушают, что у природы нет плохой погоды. Мол, все идет на пользу земле и населению, даже извержение вулканов. Потому что пепел и лава со временем превращаются в плодородную почву. Однако же в голову лезет вот что, из Маяковского:

Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!

Что-то особое, и далеко не о погоде, слышится мне в этих строчках. Молодые про погоду не смотрят, потому что для них и впрямь каждая погода хороша.

Сегодня утреннюю сводку озвучила новая дикторша восточной наружности. Дебютантка была наделена целомудренной, но при том исподволь дразнящей прелестью. По завершении новостей я понял, что хотя и слышал ее мелодичный голос, но ничего не запомнил. Зато облик ее отпечатался в моем мужском сознании. Как, верно, и замышляли мастера ТВ.

Ныне за окном победительно сияло первомартовское небо. Будто юное утро решило, упраздняя день, продлиться до самого вечера. Как будто и не висел над Москвой две недели подряд сплошной мгlistый покров, изредка сменявшийся тяжелыми грядами серо-голубых облаков. Их властно тащили и комкали холоднющие ветра. Скоростной ветер тихо под-

вывал, просачиваясь в тончайшую щель в раме балконной двери, и я это любил, потому что чувствовал в такие минуты особый уют кабинета.

Сегодня с утра небо властно звало меня на первую, разведывательную весеннюю прогулку. Я оделся с запасом, сел в лифт. Кто когда в нем сидит — а, поди ж ты: «сел в лифт». Кабина ухнула с тридцатого этажа на первый. От усиления давления воздуха кольнуло в ушах. Во дворе небоскреба стройный дворник Алпамыс, облаченный в ярко-оранжевую куртку, скреб оранжевым аппаратом дальний конец гололедной дорожки. Я смело ступил на ее ближнее ко мне начало и тут же, судорожно потанцевав пару секунд, рухнул оземь. От перелома шейки бедра или от сотрясения мозга меня спас навык спортивной юности.

Алпамыс резво бросился ко мне. Он заботливо помог мне подняться на ноги, после чего без какого-либо акцента крепко выругался, адресуя брань коварству гололеда.

Я взвился, потому что мне было обидно и больно:

— Что ж ты, паразит, дорожку не расчистил!

— Паразит? — поразился он. Теперь ему было обидно и больно.

Я это понял и быстро остыл. Он, я видел это, оскорбился всерьез. И я сменил гнев на милость.

— Алпамыс, что значит твое имя, если перевести на русский? Оно переводится? — спросил я.

— Богатырь, — сказал угрюмо Алпамыс.

Я ответил с нарочито-шутливым азиатским акцентом:

— Туда не ходи, снег башка попадет.

Алпамыс захохотал:

— Вы джентльмен удачи!

— Сам видишь, — улыбнулся я. — А ты себя, дорогой, не чувствуешь немножко рабом?

Зачем я это ляпнул...

Он опасно блеснул глазами. Взор его стал на мгновение острым. Как дамасский клинок. Он резко изменился в лице и холодно бросил:

— Вы тоже раб. Хотя, наверное, считаете себя господином.

Я смолчал. Я улыбнулся — ему это явно не понравилось. Да бог с ним. Улыбка не была моим ответом на его дерзость, как он, конечно, считал. Мы ведь были знакомы, здоровались при встрече. А он прямо оскорбился. Он, видите ли, всерьез оскорбился. А улыбнулся я потому, что вспомнил, как подобным же образом упал в марте 1974 года на тротуаре на проспекте Революции в Воронеже, аккуратно под балконом ампирной гостиницы «Москва». Я запомнил, потому что я редко падаю.

О продолжении прогулки речи быть не могло. В том же лифте, их у нас несколько, я скоростным ходом вознесся на свой этаж. Снова кольнуло в ушах. Я разделся, прошел в кабинет. Сел в кресло. Я прислушивался к своему телу. Нет ли вывиха в ноге. Нет ли сдвига позвонков. Не болит ли новой болью голеностоп, переживший когда-то опасную травму. И вообще, не стонет ли мое тело. Но все было в прежнем порядке. И тогда меня охватил особый, на грани равнодушия, покой.

В эти минуты я превращаюсь в философа. Как-никак, я писатель, потому неожиданные состояния духа и прихотливые умозаключения на фоне душевной тишины — это мой конек.

Счастлив лишь полностью спокойный человек, думал я. Это, разумеется, не бурное счастье, а тихое такое. Оно избавляет от мучительного русского самоедства, состоящего преимущественно из комплексов. Без

них человек не вполне личность, ибо они есть отпечаток ударов жизни. Комплексы есть у всякого, кроме разве малых милых деток. Но малые дети иногда тихо плачут в одиночестве. С чего бы? Они не могут ни прижаться, ни объяснить.

Покой дарит безмятежность. Но на кой черт мне эта безмятежность! Откуда ей взяться, если есть на свете такая таджичка? Не знаю, как это объяснить. Берedit душу... Как будто я счастье потерял.

О счастье я много и напряженно думал, когда в двадцать первом году лежал в двухместной ковидной палате. Я наблюдал за соседом — несчастливым, постоянно и неустанно беснующимся человеком. Он почти непрерывно исторгал из себя мат; так, наверное, Везувий исторгал раскаленную лаву в часы помпейской катастрофы. Мне не хотелось быть смятым этим дурным потоком, потому что я ненавижу сквернословие без самых мучительных и жестоких, и тем отчасти оправдывающих obscene лексикой обстоятельств. Хотя и тогда можно не материться. Но нельзя не материться. Но не стоит.

Лавина грязных слов грозила затопить палату. Моя душа начала страшиться. Так перед смертью, наверное, страшится всякая душа, а я этого допустить не мог, потому что я знал, что умру не здесь, не от ковида, а где и когда — о том я не думал, прочно защитившись от слишком атмосферных больничных размышлений тем ясным сигналом не побежденного болезнью тела, который звучит, когда еще до благополучного эпикриза и скорой выписки домой ты наперед твердо знаешь о себе: здоров.

Я решил прервать сквернословия одним ударом, избрав орудием возмездия выстрел из снайперского ружья. Пулей служил бьющий в мозг вопрос:

— Скажи мне, о водитель грузовика, был ли ты когда-нибудь счастливым?

— Почему ты сказал букву О? — он беспокожно встрепенулся.

— Из уважения, — ответил я.

— Тогда отвечу, — степенно молвил он. Я втайне обрадовался, поняв, что не промахнулся.

Но я не хотел слишком быстрого, на эмоциях, ответа с возможным включением в него мата-перемата, потому продолжил:

— Андрей, ты меня извини, ты почему такой злой?

— Нисколько, — ответил он. — Я вот сейчас подумал про нас, больных, да чуть не заплакал от жалости.

— Ты жену грязно ругаешь. Детей.

— Я у них прощения просил ночью, я звонил — три раза, ты спал, не слышал. Я так-то вообще не злой. Меня ковид сильно гвоздит. Второй раз, прикинь. Нервы перебил. Не выдерживаю. Истерю. Плачу часто горькими слезами, когда и причины нет. Как увижу детский хор по телевизору, так рыдаю. А не смотреть не могу. В записи смотрю. Люблю. А сейчас душу дергает что-то. И жизнь моя была всегда тяжелая.

Он подумал и вдруг улыбнулся:

— Не всегда, но часто.

Я решил вернуться к изначальному вопросу, решив, что мой нервный собеседник достаточно размягчен:

— А счастливым ты был?

— Неоднократно! Но коротко. На малое время.

— А когда первый раз?

— Когда первый раз кончил.

— Она красивая была?

Он посмотрел на меня с недоумением.

— Она и сейчас красивая. Жена.

Он как будто остолбенел на несколько секунд. Он блаженно улыбался.

Я погрузился в размышления; первое, о чем я подумал, был бунинский «Солнечный удар», хотя Бунин писал не о финале «мятежного наслаждения» (ох, Пушкин!), а о золотящей душу внезапной любви. Такая бывает раз в жизни, и не у всякого. Бывает ли не внезапная? Конечно. Любовь чаще всего подготавливается постепенно и приятным образом. Так нежит чувства ласковое, с кустами благовоспитанных, но тайне грешных роз, ореховое предгорье, над которым высятся пик любви. На пути к нему за каменными осыпями начинаются узкие и крутые тропы. Вслед за ними опасно кренятся скалы. И нужно для достижения счастья избрать единственно верный маршрут к сияющему пику.

На котором произойдет прекрасная свято-грешная любовь.

Свой солнечный удар я однажды в жизни пережил. В Таджикистане. С юной красавицей. Двадцать три года назад.

Когда это случилось у нас, поднялся сильный холодный ветер. Со стороны ущелья на нас неслось белое облако с размытыми краями. Мы на несколько секунд попали в его тело, а когда облако умчалось, мы увидели, что стоим мокрые с головы до ног.

Так выглядит счастье. Позднее я понял, что так выглядит начало долгой муки постепенного забвения в неизбежной, неотвратимой разлуке. А тогда я почувствовал гордость собой. А она, я знаю, извела радость полного обретения мужчины, которого, безошибочно считывая навигационные линии любви, привела не только на этот пик, но и к подножию горы.

Через месяц она решительно и навсегда, без объяснения причин, превала наши отношения.

Тимур, я никогда тебе об этом не рассказывал.

Кто такой Тимур, я напишу, скрывать нечего.

Утром следующего после моего падения дня в прихожей раздался звонок. Я пошел открыть дверь. С порога на меня смотрел Алпамыс. За его правым плечом стояла невероятной красоты девушка. Мастерница колдовать о погоде на напористом нашем ТВ. Она, точно. У меня сердце сильнее забилось, потому что мне выпала редкая удача.

Алпамыс молча протянул мне тонкую, в твердом нежно-зеленом переплете, книгу. На задней обложке красовался его портрет. На передней ниже имени автора было исполненное красивым восточным шрифтом название книги.

— Вы знаете Тимура З...? — спросил он.

— Знаю, это мой старый друг. Старинный друг. Большой поэт.

— Правильно. Позвоните ему.

Она окатила меня победительным взором. Они ушли.

Я позвонил Тимуру. Рассказал эту историю и послал ему на смартфон фотографии книги. Спросил, кто этот странный парень.

— Это молодой классик. Он мой ученик. Откуда ты его знаешь? Я его перевожу на русский. Подожди, сейчас найду книги, прочитаю.

Я ждал. Потом я услышал его голос.

О, Господь! И зачем были странствия эти?
И зачем Тебе двуногий муравей...
Зачем Тебе Бредущий с пиалой воды вдоль океана...
Зачем...
На земле никто не знает...
На земле нет мне ответа...
Так открываются долгожданные
Врата в Царствие Небесное...
В Вечные Селенья...
Только там я узнаю, зачем по земле я
Прошествовал... промаялся...
Старцы Двух Миров говорят, что там нет времени,
Нет ветра...
А я, заблудший двуногий муравей
с пиалой на берегу океана,
все еще люблю до костей
Проникающий живой ветер... ветер... ветер...
И маки, рассыпающиеся в майских травах ветреных...

— Это гениально, — сказал я. Потом я молчал несколько секунд.

— И это обо мне, ты понимаешь, Тимур? Обо мне! Он написал обо мне!
Но у меня такое чувство, что это создал столетний мудрец, а не молодой
мужчина.

— Он и есть мудрец, — сказал Тимур. — А ты принял его за дворни-
ка. Но не печалься, теперь ты знаешь о нем. И он кое-что знает о тебе.

— Откуда, Тимур?

— Я ему давал твою книгу. Там у тебя есть рассказ... Как ты с девуш-
кой-таджичкой поднимался в горы, когда был у меня в гостях. Скажи
мне, это правда было у вас?

— Я не знаю, — сказал я.

— Было, — сказал Тимур.

Он помолчал.

— К тебе приходила твоя дочь.

